



Л. Е. ФЕЙНБЕРГ

**Три лета в гостях у Максимилиана Волошина:
Мемуары. Эссе. Стихи**

<Фрагменты>

На старости я сизнова живу,
Минувшее проходит предо мною.

Пушкин. «Борис Годунов»

Максимилиан Александрович Волошин... Мне посчастливилось провести в его коктебельском доме почти двести пятьдесят дней. Три лета подряд — в годах девятьсот одиннадцатом, двенадцатом и тринадцатом я прожил в Коктебеле. В одиннадцатом году мне исполнилось пятнадцать.

Должен сказать, что эти три лета были для меня самым значительным и плодотворным периодом моей юности. Они отразились на всем моем жизненном пути. Лучше сказать — они определили его.

Образ Максимилиана Волошина не покидал меня, он и сейчас живет со мною... во мне. Двести пятьдесят дней он был моим учителем. Более того — руководителем. Зорким, проницательным, мудрым, доброжелательным. Почти всегда — дружески расположенным. *Почти* — потому что иногда — хотя и очень редко — он мог быть молчаливо-строгим, даже суровым.

Итак, эта небольшая книга — книга воспоминаний. Я пишу только о том, что я видел своими глазами. Мне сейчас идет восемьдесят четвертый. С полным правом я мог взять для эпиграфа слова Пимена. Но многие отроческие воспоминания я хочу теперь оценить под углом зрения уже взрослого человека. С точки зрения профессионала-художника.

В последний раз я пожал руку Волошина осенью тринадцатого. <...>

Я — глаз, лишенный век. Я брошено на землю,
Чтоб этот мир дробить и отражать.
И образы скользят. Я чувствую, я внемлю,
Но не могу в себе их задержать¹.

Вероятно, бывают и такие отроческие зеркала, как описал в своем прекрасном стихотворении Волошин. Мой случай был другим. Образ

Волошина слишком мощен, чтобы он мог проскользнуть мимо меня. Он властвовал над моей душой подростка. И до сих пор я внутренним слухом слышу его голос, и память точно воспроизводит многие его слова. <...>

<...> ...Он активно и весьма дружелюбно подходил к каждому человеку из своего окружения. И неизменно его влияние на каждого клонилось к добру. Но вместе с тем — Волошин всегда оставался самим собою. Наедине со своим собственным интеллектуальным и духовным миром. Другим он приоткрывал его с трудом. И глубже всего в стихах.

* * *

Если в облике его матери сквозила непреклонная твердость, то в лице Макса, я бы сказал, была, если можно так выразиться, непреклонная мягкость. Он не был высок, но я ощутил, что на террасу вошло нечто громадное. Его необычайно крупная голова, широкое лицо, в сущности, с весьма правильными чертами, было еще расширено, еще увеличено обильным массивам волос, едва-едва тронутых на редкость ранней сединой. Волосы Макса лежали как-то особенно плавно и красиво и были, главным образом, откинута назад, но также широко курчавились и над висками. Бакенбарды небольшие, вероятно, выстрижены своею же рукой. Но они соединяли массу волос на висках с округлой, чрезвычайно плотной бородой, более русой, где ранняя седина сказывалась сильнее. Широкий, отвесный лоб был несколько выдвинут вперед. Взгляд не очень больших, светлых, серо-карих глаз был поражающе острым — вместе с тем и бережно-проницательным, с упорным доброжелательным вниманием. В его глазах было нечто от спокойно отдыхающего льва. Это сходство подчеркивалось тем, что прямые верхние веки в сторону переносицы приподнимались островатыми уголками. Небольшие, аккуратно и плотно сложенные губы открывались нечасто, но так, что каждая фраза, сказанная Максом, была весьма совершенной. Я ни разу не слышал, чтобы Макс смеялся. Даже улыбался он редко. Чаще глазами, чем губами.

* * *

Я — в большом затруднении. Обращаясь к впечатлениям того лета двенадцатого года, я нахожу в памяти много наблюдений. Но тогда я не мог сделать из них каких-либо определенных выводов. Я видел основной образ Макса, и если и были отдельные случаи отступления от не-

го, то я приписывал их своего рода игре, своеобразной мистификации, к которой, как мы увидим, Макс не только был привержен, но любил и сознательно допускал. Одна из ценнейших черт его характера была непрерывная власть над собою. Никогда ни гнев, ни досада, ни раздражение, ни смех, ни даже веселость не брали верх над его внутренним самообладанием, над внутренней плавностью его бытия.

С течением времени, конечно, я переосмыслил многие наблюдения и дополнил образ Макса многими ценнейшими чертами, которые тогда подспудно таились в нем и которые обнаружались в грядущие времена.

Что я могу сказать? Я всей душой любил Макса, как любят самого близкого человека. Его присутствие обогащало, естественно скрашивало мое отроческое существование. В его присутствии я жил полной жизнью. Для меня имело значение каждое его слово: и шутовское, и назидательное. Потому еще, что в каждом шутовском его слове таился назидательный смысл и я его различал. И каждая назидательная фраза была облечена в шутовское покрывало.

Слишком часто встречающийся — даже в наиболее удачных воспоминаниях — образ медведя, мне думается, не точен. Я никогда не видел Макса, бегущего кому-либо навстречу с распростертыми объятиями. Вообще говоря, мне никогда не пришлось видеть, что Макс бежит. Основная внешняя черта его была плавность, плавность жестов и движений, мягкая, неизменно зоркая плавность (простите противоречие сближенных понятий). Любое нарушение этой плавности было вызвано сознательным решением, связанным или с мистификацией, или с желанием принести пользу, или со своего рода душевным упражнением.

Незыблемая плавность волевых решений.

Неизменная плавность всей жизненной, даже житейской системы. Плавность быта.

Полностью противоположан Волошину был любой вид робости. Макс был смелым, беспредельно смелым. Но это не была внешняя смелость, показная отвага. И когда — значительно позднее — он сказал:

...Если ж дров в плавильной печи мало:
Господи, вот — плоть моя...² —

это не было простой поэтической формулой. Я убежден — так чувствовал Волошин всю свою жизнь. И я уверен, что Макс сохранял полное хладнокровие, более того, спокойствие стороннего наблюдателя в день дуэли из-за Черубины де Габриак (Елизаветы Ивановны Дмитриевой), когда в него старательно целился всего шагов за двадцать Гумилев. Но я не могу сейчас представить себе, и тогда — подростком — не мог себе представить, чтобы Волошин мог в кого-либо выстрелить. Да он так и не ответил на выстрел

противника. И такую же невозмутимость сохранил Макс — по свидетельству Марины³, — когда загорелась вышка его мастерской.

<...>

Даже в те годы, подросток, я подмечал: в наружном облике Макса скрыты глубокие противоречия. На первый взгляд Макс казался человеком могучим, титанически сверхмощным. Глазам легко было обмануться. На самом деле Макс был болен, чем-то серьезно болен. Тучность его была не признак здоровья, а симптом тайной болезни. Поэтому он не мог есть, как все другие. Поэтому он, кто был вдвое тяжелее других, должен был есть вдвое меньше. Поэтому ему было запрещено все сладкое.

И когда он признается доктору Саркизову-Серазини⁴, что поглощает «сотни коктебельских пирожных», — это лишь очередная мистификация, только мечта о том, что полностью ему противопоказано.

Я свидетельствую, что, прожив в доме Макса около 250 дней (за три лета), я ни разу не видел в его руках сладкого пирожного. Вообще он ел мало — меньше каждого из нас. <...> Иногда случалось, что Максу относили обед в его комнаты второго этажа, когда он не хотел отрываться от своей работы. Как-то я присутствовал при таком его обеде. Тарелку с супом и хлеб поставили рядом с его рукописью. Я обратил внимание, как погруженный в свои мысли Макс неторопливым и точным движением черпал ложкой суп и подносил ко рту. С невольной мальчишеской улыбкой я сказал Максиму о моем наблюдении. Он внимательно взглянул на меня и серьезно, почти строго сказал:

— Каждая еда — причастие! — и вернулся к своим занятиям.

* * *

Теперь я хотел бы догадаться, откуда происходила в душе Макса эта глубокая любовь к мистификации. Тогда — подростком — я не ставил перед собой таких сложных вопросов. Да и сейчас я не уверен, что смог бы на них ответить. Я позволю себе высказать только несколько беглых соображений.

Вот я сижу или полеживаю с очередным томом Достоевского на диване в одной из комнат на втором этаже. А Макс за самодельным деревянным письменным столом склонил свой светлый, менее загорелый, прямоугольный лоб над очередным томом. Его волосы перехвачены жгутом из трав. Не подумайте, что на лбу Волошина можно прочесть напряжение мысли, что можно заметить морщины (между сдвинутыми бровями) напряженного внимания... Нет-нет! Наоборот, спокойно-углубленное созерцание, вероятно, внутренняя концентрация мысли, не вызывающая на лице мускульного напряжения.

Что же читал Макс? Я не позволял себе назойливого любопытства. Иногда, мельком, вскользь, я мог заметить, что это был толстый французский том по хиромантии, а иногда — френологии, с большим числом рисунков, схем, таблиц, в которые Макс углублялся, может быть, и не всегда соглашаясь с их указаниями. Бесспорно — у него была выработана своя система, на основании особой прозорливости, поразительной зоркости.

Впрочем, зачем искать объяснение той или иной склонности, присущей творчески настроенному человеку? Макс был изумительно одарен умением и склонностью мистифицировать: и задумывать мистификацию, и организовать ее, и быть ее активным участником. Я уже говорил, что все «обманы», затеянные Максом, неизменно клонились к добру. Хотя однажды, в тринадцатом году, потрясающе проведенная мистификация, свидетелем которой (а не участником) мне удалось оказаться, завершилась истерическим припадком артистки «Свободного театра» Субботиной, приехавшей в Коктебель по приглашению своей подруги — Веры Эфрон.

Мистификация вплотную сводила Макса с кругом участников, в то время как основное его настроение — быть сторонним наблюдателем. Благожелательным, зорким, но все же — сторонним. В стихотворении, посвященном Валерию Брюсову, Макс сказал:

Да, я помню мир иной —
Полустертый, непохожий,
В вашем мире я — прохожий,
Близкий всем, всему чужой⁵.

1903

Очевидно, такая формулировка особо близка Волошину. И кажется ему точной. И еще:

Я не просил иной судьбы у неба,
Чем путь певца: бродить среди людей
И растирать в руках колосья хлеба
Чужих полей⁶.

Это стихотворение заканчивается такой строфой:

Благодарю за неотступность боли
Путеводительной: я в ней сгорю.
За горечь трав земных, за едкость соли
Благодарю!

1910

Через три года, в тринадцатом, Волошин скажет:

Но не чужую, а свою
Судьбу искал я в снах бездомных
И жадно пил из токов темных,
Не причащаясь бытию...⁷

1913

Если суммировать эти высказывания, можно понять, как тяжело было проходить сквозь жизнь Волошину в его громоздкой плоти, томимому, кроме всего прочего, какой-то сложной и странной болезнью. Макс, столь дружелюбно настроенному ко всем людям, с кем его сводила судьба, и — вместе с тем — поневоле более одинокому, более отчужденному, чем кто-либо, с кем я встречался...

Во время мистификации эти преграды частично разрушались. Кроме того, соучастники мистификации обнаруживали себя, свои способности, свой характер с особой четкостью. В такой игре Макс словно бы «причащался к бытию».

О мгновенной прозорливости Макса значительно позднее я слышал много рассказов. Но для меня особенно драгоценны рассказы Марии Степановны. Их правдивость и точность не подлежали сомнению.

Вот один из таких случаев по рассказу вдовы Волошина.

У Макса и Марин Степановны была договоренность давать приют и убежище каждому, кто просился переночевать или даже прожить в их доме несколько дней. Однажды вечером на балкон, где они сидели, поднялся совершенно незнакомый им человек и спросил, нельзя ли провести у них ночь. Взглянув на него, Макс сказал:

— Нельзя. У нас все места заняты. Вы можете переночевать у кого-либо в деревне.

— Но у меня, так случилось, совсем нет денег!

— А дальнейшие ваши планы?

— Мне надо добраться до Ялты. Там у меня есть знакомые. Они снабдят меня деньгами. Я должен сесть на пароход...

— Сколько же вам надо?

Тот назвал небольшую сумму. Но у Марии Степановны и таких денег не было.

— Сейчас вы получите, сколько просите.

Мария Степановна отвела Макса в сторону.

— В чем дело? Почему ты не хочешь, чтобы он переночевал? У меня совсем нет денег.

— Сейчас я соберу, сколько требуется. Но он не перейдет порога нашего дома!

Макс спустился вниз и со всех жильцов — все больше людей весьма небогатых — собрал нужные деньги.

— Вот, возьмите. И поторопитесь в деревню. Там рано ложатся.

Гость ушел. Почему же Макс нарушил принятый обычай — к удивлению Марии Степановны? В дальнейшем оказалось, что этот человек только что совершил ужасающее, чудовищное убийство.

Итак, во время мистификации этот дар поразительной зоркости мог найти себе применение. Конечно, Макс был театрально одарен. Но он не смог бы на сцене сыграть даже роль Фальстафа⁸. Для этого необходимо было повышать голос, жестикулировать, вселиться в чуждый ему образ...

Все это было Волошину противопоказано.

Мистификация была тончайшим театром на дому.

* * *

Мы все жили тогда в нашем узком мирке под властью великой, блаженной иллюзии. Нам казалось, что эра войн безвозвратно прошла. <...>

И мы не могли понять на пороге четырнадцатого года, что наше душевное состояние — безмятежность — в сущности, самообман...

Но не так жил Волошин. Ему в высшей степени было присуще чувство истории. Особенно русской. Волошину еще предстояло создать большие историко-поэтические произведения... <...>

Но до всего этого еще годы и годы.

А пока историческое предвидение томит душу Волошина. И он отдыхает на мистифицированных играх, которым предается со всей изобретательностью мысли. Он затевает поистине величественные «обманы», превращая скромную Елизавету Ивановну Дмитриеву в Черубину де Габриак. Он, Макс, такая обширная мишень — Пьер Безухов — спокойно стоит перед дулом направленного прямо в него пистолета в руке Гумилева. Хотя прекрасно знает, что никогда не ответит выстрелом на выстрел.

Понять изумительные мистификационные игры и затеи Волошина, его сложную любовь к ним необходимо с учетом владевшего им четкого ощущения последних лет «мирного жития».

Правда, не только один Волошин жил тогда в ауре «предвестий». <...>

В «Ангеле Мщения» Волошина, созданном в Париже в 1905, вероятно, еще до декабря, звучит нечто провидческое. Не так-то легко жить с таким тяжким ожиданием трагедии:

Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача⁹.

А пока что пронизанные золотым отблеском глаза Макса скользят над очередным французским томом, где в заглавии я смог заметить: «Magique»...

Сам Волошин говорил о себе, что прикосновение его рук — целебно. Смутно вспоминаю рассказы об исцелении Максом тяжело обожженных людей. Но пусть о таких поразительных случаях повествуют с полным знанием, если не свидетели, таких уже, вероятно не осталось, то хотя бы слышавшие детальное повествование от самой Марии Степановны...

* * *

Максимилиан Волошин — самый замечательный человек, с которым меня свела судьба за всю мою жизнь. Три лета я прожил рядом с ним, осознавая всю значительность каждого его слова. Я был мальчиком и подростком достаточно наблюдательным. Осмелюсь сказать даже, зорким и проницательным.

Именно поэтому я вынужден признаться, что мне раскрылась только небольшая часть духовного и интеллектуального богатства его творческого существа.

Я бесконечно благодарен Макс за его мудрое отношение к моему отрочески несовершенному искусству. И в живописи — и в поэзии, И я благодарен ему за долю суровости, в которой — иногда молчаливо — тайлось желание помочь мне. Макс был идеальным учителем. Мне хотелось бы начертать это слово с заглавной буквы. Оглядываясь на дни моего отрочества, я вижу себя способным учеником, горячо принимающим ценные уроки.

Полагаю, что Макс меня считал человеком, предназначенным к делу искусства. К области двух искусств. Быть может, именно поэтому он никогда, повторяю, *никогда* не беседовал со мною на те темы, которые, обобщая, я наименовал бы «гносеологическими». Именно поэтому Макс настаивал, чтобы я «не спорил». Это он мне сказал всего один раз за все 250 дней, что я прожил около него. Однако он знал, что я не забуду один раз данного мне указания. Потому что, споря, я мог коснуться области, о которой в беседах со мной он считал разумным умолчать.

Я рассказал, как однажды Макс попросил меня сказать наизусть его первый венок сонетов. В примечании к этому «венку» («Стихотворения»¹⁰, стр. 407) говорится:

«В «Corona Astralis» выражено «эзотерическое», т. е. тайное, предназначенное лишь для посвященных восприятие мира»...

Однако в беседах со мной Макс ни разу не коснулся ни одной из таких «эзотерических проблем».

* * *

Конечно, я дорожил каждым коктебельским днем, и все же срок отъезда неумолимо приближался. Наконец, настал день, когда я должен был в последний раз пожать руку Макса. Но я не знал, что это — в последний раз...

Все знают, что Макс был убежденным «хиромантом». И большинство друзей Макса настойчиво просили его посмотреть линии их ладоней, «погадать». Но Макс очень редко соглашался. И я тоже как-то обратился к Максиму с той же просьбой. Но Макс молчаливо уклонился. И я больше не надоедал ему.

Однако несколько раз я был свидетелем, как Макс, согласившись на просьбу, у кого-нибудь «смотрел ладонь». И у меня создалось впечатление, что это для него не так просто, что такое «гадание» для Макса связано со своего рода «медитативным напряжением».

В своих стихах Макс не раз говорит о чтении линий руки: «раскрыв ладонь, плечо склонила»...¹¹ И еще детальней:

Мой пыльный пурпур был в лоскутках,
 Мой дух горел: я ждал вестей,
 Я жил на людных перепутьях
 В толпе базарных площадей.
 Я подходил к тому, кто плакал,
 Кто ждал, как я... поэт, оракул —
 Я толковал чужие сны...
 И в бледных бороздах ладоней
 Читал о тайнах глубины
 И муках длительных агоний...¹²

1913

Я уже должен был идти. Меня ждали: я ехал не один. Я зашел в мастерскую, сказать Максиму «До свидания»! — и в неудачный момент. Макс рисовал портрет. Кого? Не помню. Модель была женская. Быть может, Капитолина Субботина?..

Макс не любил, когда его отрывают от портретизирования. Я и зашел на полминуты. Протянул руку. «До свиданья, Макс. До будущего лета!»

Но Макс взял мою руку — и повернул ладонью вверх. Потом взял левую...

Он сказал: «Мне сейчас некогда. Потом как-нибудь я посмотрю внимательней».

Последний раз, когда я говорил с Максом.

* * *

Итак, прошло тридцать семь лет, прежде чем я снова посетил Коктебель. В 1950 году, осенью, я повез мою дочь Софью — ей уже минуло двадцать лет — познакомиться с Коктебелем и вдовой Волошина, чудесным человеком Марией Степановной.

Но я не узнал Коктебеля. Правда, в пятидесятом еще были следы разрушений — всего пять лет прошло после завершения войны, и новых построек было еще немного. Но разрушения были, очевидно, во мне самом. Горы оказались вдвое ниже. Морской прибой уже не был столь красноречивым. Коктебельский бриз — осенний — был слишком прохладен.

Первые три дня горько сожалел я, что решился приехать на мою творческую родину — через столько лет! Я был отравлен, чем? Самим собою. Хотя я еще не был стариком.

Но мои глаза не узнавали *того* Коктебеля. <...>

Прошло дней пять — и горечь разлуки с давнишним чудесным Коктебелем во мне утихла. Новый Коктебель смог слиться с прежним воедино. Кроме того — удивительные рассказы Марии Степановны о Максе, почти каждый вечер, столь мне нужные, так как они дополняли образ, сложившийся во мне еще в те, довоенные годы...

Ценнейшие рассказы вдовы Волошина о детстве Макса, о его отце и матери — Елене Оттобальдовне, о Максе первых революционных лет, о нем в двадцатых и начале тридцатых... Он умер так рано — 7 августа 1932 года¹³, всего пятидесяти пяти лет, но уже глубоким старцем.

<...>

Я позволю себе привести стихотворение, которое я написал, вернувшись, уже в Москве:

Ты долго томился в холодной земле.
Но солнце помедлило: в воды глядеться
И холмы покоить в великом тепле...
И сердце твое не могло не согреться.
С нагорья чуть слышно меня ты позвал,
И вверх по восклону я шел без дороги,
И ветер ладони мне в грудь упирал,
И колкие травы цеплялись за ноги.
Я маленький камень — зеленый — принес,
Отточенный вгладь мириадами взводней,
И звездочка яшмы вдавилась в откос,
Чтоб память вздохнула светлей и свободней.

Пусть жесткие корни сплелись вместо жил
И рыжей рудой вся кровь обернулась:
Я руку на сердце тебе положил...
Но сердце большое в ответ не качнулось.
А помнишь — те дни? — их мятежный Восток,
Косматые солнца в просторе богатом...
Меня ты забыл — неположенный срок,
И нехотя принял слугою и братом.
Но к прежним истокам я снова приник
И снова прокрался в родной заповедник,
Твой друг неразумный, немой ученик,
Единственный, хоть незаконный, наследник.
Прости ж мою немощь: что робок и слаб,
Что день мой — туманней, и мрак — непробудней,
Что блудный твой брат, что уклончивый раб
Заветное солнце не поднял из будней.

1950

Как видите, в стихах можно сказать многое, что в прозе не выговаривается.

